

Эдвард Радзинский Коба (монолог старого человека)

Загадки истории – 15

Мы с ним дружили. Мы подружились в лихое время. Мы напали тогда на почту. Революции нужны были деньги – и мы экспроприировали эти деньги в пользу Революции. И вот тогда Кобе и повредили руку. И потом на всех картинах – на тысячах тысяч картин – Коба будет изображен с вечной своей трубкой в согнутой руке. (В ту страшную ночь, когда Кобе уродовали руку, я не знал, что стою у истока лучших произведений нашей живописи...) Как не любил Коба свое удалое прошлое. Когда невеста спросила его о руке, Коба рассказал рождественскую историю о бедном маленьком мальчике, искалеченном под колесами богатого экипажа.

Да, для меня он всегда был Коба. Мой друг Коба. Мой соплеменник Коба. А я для него был Фудзи. У меня восточные глаза и странные японские скулы. За мое японское лицо Коба шутливо прозвал меня Фудзияма, и это стало моей партийной кличкой, или Фудзи, как называли меня друзья.

В те молодые наши годы Коба очень любил шутить и петь. Пел он прекрасно, но шутил, прямо скажу, незамысловато: «Дураки-мураки», «баня-маня» – и сам же от этих шуток покатывался, просто умирал от смеха! Тогда Коба был молод, и сила ходила в его теле, и тесно ему было от этой силы, как от бремени.

Но Революцию не делают профессора в беленьких перчатках. Профессора размышляют и пишут, спорят и болтают. А Революция – это великое и смелое дело. Надо порой уметь заманить врага в ловушку, прикинувшись другом, надо уметь иногда быть глухим к стонам и, наконец, надо убивать! Если этого требует Революция. Коба умел. Лучше всех нас. Коба был нужен всем «профессорам» Революции для черной работы Революции. Клянусь, втайне они презирали его, боялись и ненавидели. И он это знал. Любили его только мы – соплеменники-грузины. Потому что мы понимали великую цельность нашего яростного, коварного и беспощадного друга – барса Революции.

Десять лет я делил с Кобой одну постель, один ломоть хлеба и одну ссылку. И вот разделил и общую радость – она победила, наша Революция. Если бы кто-нибудь намекнул нам тогда, кем станет наш не очень грамотный друг, столь дурно говоривший по-русски! Если бы кто-нибудь намекнул нам и всем этим болтунам, издевавшимся тогда над Кобой...

А потом... Я не буду рассказывать то, что всем хорошо известно: как начали исчезать все эти профессора-болтуны, враги Кобы... Как потом начали исчезать и его друзья, соплеменники-грузины... Нет, тогда мы не просто говорили – в лицо ему правду орали. Орали! И исчезали... Впрочем, вру: другие орали – и исчезали. А я молчал. Я жил тогда в Тбилиси, руководил искусством, дружил с поэтами, художниками. И молчал... Помню, забрали Тициана Табидзе... Взяли и других замечательных поэтов. Из моих знакомых остался, пожалуй, только ничтожный поэт Дато... Ах, как ему было стыдно – всех великих забрали, а он остался. Неужели он был такой невеликий? Помню, как Дато надеялся, что его попросту забыли, как ждал каждую ночь. Но его все не брали. И тогда он не выдержал, надел черкеску с газырями, сел на коня и выехал на площадь перед неким зданием. Было утро, он гарцевал один по пустой площади. Наконец открылось окно, высунулась голова и презрительно крикнула: «Ступай домой, Дато! Ты все равно не настоящий поэт! « А я молчал. Я затаился и молчал. Клянусь вам, я смелый человек, и это может подтвердить Революция. Но я молчал. Я, который ничего и никого не боялся, боялся только одного – Кобу. Ибо я знал его. И все-таки молчание не помогло...

В тюрьме я буйствовал, требовал свидания с Кобой. Я ничего не подписывал, я отказывался от пищи. День и ночь я твердил: соедините меня по телефону с Иосифом

Виссарионовичем. Я угрожал, я твердил о врагах Революции, о нашей с ним дружбе, о моей личной преданности великому Иосифу Виссарионовичу. Боже, что я пережил. Но держался. Наконец следователю все это надоело, и он вдруг сказал мне, тихо-тихо, сквозь зубы: «Вы взрослый, опытный человек. Неужели вы думаете, что личных друзей Самого можно арестовать без санкции Самого?» И засмеялся. И я засмеялся тоже. Как жаждет человек утешительного самообмана, с какой готовностью он лишает себя рассудка! Только бы оставалась надежда. Как же я, знавший его как облупленного, мог подумать...

Я получил десять лет по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Это было последнее шутовское «прости» от Кобы своему старому другу Фудзи. Что делать, теперь он был бог и избавлялся от нас, свидетелей его прежнего ничтожества. Он не хотел больше видеть рядом нас, своих друзей, своих верных друзей, равных ему когда-то.

Я просидел четыре года, я стал седым, беззубым, больным, но все это я выдержал; у меня была школа царской каторги. Единственное, что меня мучило, – бедствия семьи. Я знал, что моя жена скиталась по углам, что ее гнали как зачумленную, с малолетней дочкой на руках. В лишениях росла моя дочь Нона, но мать всегда рассказывала ей о моей преданности Партии, Революции и лично товарищу Сталину. И моя дочь сама выучилась грамоте, чтобы писать письма Иосифу Виссарионовичу. Каждый день маленькая Нона отправлялась на почту и отсылала свое письмо Лучшему Другу советской детворы. Она писала, что отец ее оклеветан, что он невинен, и просила любимого Отца всех детей мира наказать врагов, оклеветавших ее отца. И так изо дня в день, четыре года! Свои письма она подписывала: «Пионерка Нона».

Через четыре года произошло фантастическое. Я был освобожден по приказанию самого наркома. И вот я был на свободе. И опять чудо: мне разрешили поселиться в Москве.

Когда-то я был первым заместителем наркома, теперь работал жалким корректором издательства. Но я был счастлив, потому что вновь видел рядом свою жену и красавицу дочь. Потому что только после лагерей можно почувствовать, какое это счастье – жизнь и воля. Как я наслаждался возможностью одному ходить по улице, есть много хлеба, пить вино и видеть прекрасные лица близких. Нет, нет, пожалуй, впервые в жизни я был до конца счастлив.

И вот однажды в мою рабочую комнатенку вбежал бледный как полотно сам директор издательства. И выпалил:

– Вас к телефону! Немедленно!

Мы бежали по коридорам – он впереди, я за ним. Вы представляете, что я передумал, пока мы бежали.

В кабинете директора лежала снятая трубка, он поднял ее очень почтительно и протянул мне как драгоценность.

– Сейчас с вами будут говорить, – сказали в трубке...

– Это ты, Фудзи? – спросил знакомый голос.

– Это я... – Голос мой дрожал. И после мучительной паузы, стоившей мне жизни... потому что я не знал, как его назвать... ох, как я боялся ошибиться: – Это я... Иосиф Виссарионович... Здравствуйте.

– Здравствуй, – мягко продолжил голос, – ты случайно не свободен сейчас?

– Свободен... конечно, свободен...

– Я рад, что ты свободен... Тогда приезжай ко мне.

– А как, Иосиф Виссарионович? – глупо спросил я.

– Тебе все объяснят, – ласково засмеялся он. – Все объяснят, Фудзи.

В трубке раздались гудки, и тотчас раскрылась дверь, и в кабинет вошел очень вежливый человек в военной форме...

Коба принял меня в огромном кабинете. Он стоял с трубкой в негнувшейся руке у стола, заваленного бумагами. Я остановился в дверях, поздоровался.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал печально:

– А ты стал совсем седой, Фудзи! Я облился потом и прошептал:

– Годы, Иосиф Виссарионович.

Он посмотрел на меня, и вдруг глаза его вспыхнули, и он яростно закричал:

– С каких это пор ты стал со мною на «вы»?

От ужаса я потерял дар речи. Я знал: одно неверное слово, даже взгляд – и я снова буду там! И снова бедствия несчастной семьи!

Я поднял глаза и наткнулся на его бешеный, ужасный взгляд. Это был тот самый взгляд... когда мы ночью скакали к дилижансу с почтой. Да, я узнал его: это был он, мой старый друг Коба. И воспоминания юности захлестнули меня, и я с любовью, с печальной, непритворной любовью посмотрел на него. И он это почувствовал. Взгляд его стал ласков, он обнял меня. Я понял: первое испытание я выдержал.

– Никогда не говори мне «вы», никогда! Слышишь, Фудзи! Сколько нас осталось?

Сколько нас осталось, друзей-соплеменников? Нас, любивших друг друга, нас, готовых умереть друг за друга грузинских удалых парней? Совсем не осталось – одних он посадил, других расстрелял, третьих заставил покончить с собой... Серго, Ладос... Боже, хватит!

Он смотрел внимательно, глаза в глаза. Я отсидел четыре года, я с отличием окончил его университеты. И в моих глазах он не прочел ничего. Там была только любовь к Вождю и Другу и преданность... Я выдержал и второе испытание.

А потом он позвал меня к столу и молча указал на книгу. Это был «Витязь в тигровой шкуре», русский перевод. Он запомнил мою любовь к этой поэме: когда-то в туруханской ссылке я читал ему ее наизусть, а он, зевая, слушал.

Теперь он взял книгу и, ласково держа ее в корявых пальцах, задал мне несколько наивных школьных вопросов. Я ответил. Он поблагодарил и что-то записал прямо на полях книги. Потом пояснил:

– Меня здесь попросили отредактировать русский перевод «Витязя», и я, помня твою любовь к поэме (его дьявольская память!), решил с тобой посоветоваться.

Он действительно редактировал. Он, управлявший гигантской страной, хотел еще редактировать «Витязя». Он, не окончивший даже семинарии, редактировал сейчас перевод поэмы. Редактировал перевод на языке, который плохо знал. Но он верил, что сможет сделать и это. А может быть, это было опять – испытание? Еще одно? Я похолодел. Он внимательно смотрел мне в глаза. Но, клянусь, там было написано только одно: «Величайший Гений всех времен и народов редактирует перевод поэмы, рожденной на его родине. Как это прекрасно! Кому же, как не ему... « Он был доволен. Мы простились.

– Послушай, – сказал он, когда я был уже в дверях. – Сколько лет мы с тобой не виделись?

Нехорошо, Фудзи. Ты должен позвать меня в гости, посидим, как прежде, поговорим, споем...

– Но, Коба, я живу довольно тесно... (После возвращения меня поселили в громадной коммуналке: нас было двенадцать соседей, один туалет и одна кухня. Я жил в крохотной комнатенке с женой и дочерью.)

– Как тебе не стыдно, Фудзи? Помнишь, как мы жили до Революции? Где мы с тобой только не ютились! Разве это мешало нам веселиться? Дом друга – что может быть прекрасней?

– Ты прав. Я буду рад тебя видеть, Коба!

– Значит, завтра жди меня к себе. Если не возражаешь, я привезу с собой кого-нибудь из наших. (И вот здесь я чуть не вздрогнул – «наших» никого уже тогда не было.) Он внимательно смотрел на меня и, только встретив мой ясный взгляд, прибавил после паузы: – Ну, Лаврентия...

На моем лице была только радость. А потом я шел домой и ругал последними словами ублюдка Лаврентия, грязного приبلудного пса, трусливого убийцу, который никогда не был «нашим», которого мы даже не знали в дни Революции. Палач, который явился после... Я орал в ночь все грузинские ругательства, все русские лагерные ругательства. И плакал.

На следующий день с утра в нашей квартире появились молодые люди в одинаковых

костюмах и замшевых гетрах. Все мои двенадцать соседей были загнаны в комнаты и не могли, несчастные, даже выйти в туалет. Квартира была обследована, стены простуканы, из коридора убраны все сундуки, все тазы, велосипеды, вся обувь, все пальто. Коридор стал девственно чист, а молодые люди заняли свои места на подступах к ванной, кухне, на повороте коридора к нашей комнате. Они гулко перекрикивались между собой. Переулок и весь дом были оцеплены, все те же молодые люди разгуливали по этажам, а с шести часов движение жильцов по нашей лестнице окончательно прекратилось. Наконец в семь часов подъехали машины: сначала две, потом три, а потом, как-то внезапно, раздался звонок в нашем пустом коридоре...

Мы сидели в нашей тесной комнатухе, пили прекрасное грузинское вино, которое принес он, и пели наши грузинские песни. Рядом сидела моя жена, восторженно глядевшая на Кобу. Она была много моложе меня, она не помнила Революции. Для нее он был Бог, соизволивший спуститься прямо с небес в нашу жалкую лачугу.

Коба посадил мою дочь на колени, и она сидела, не смея шевельнуться, на коленях Лучшего Друга детворы всего мира. И он мягко и нежно выкручивал ей ухо своими короткими и толстыми пальцами. Это была его любимая ласка. Мы вспомнили с ним о каторге и ссылке (царской), вспомнили анекдоты (прежние). И наших друзей, тех редких наших друзей, которые умерли своей смертью.

А потом опять пели. Как хорошо он пел! И вообще у Кобы всегда был поразительный слух – он слышал, о чем шептались даже в соседней комнате. И голос у него был, небольшой, но голос.

Он ласково глядел на меня, и я любил его. Всем сердцем. Я любил свою юность, наши мечты, нашу маленькую солнечную родину, милый мой друг Коба.

Он внимательно следил, чтобы я не пропускал тосты, чтобы я опорожнял вовремя стакан за стаканом. Но от вина моя преданная любовь только возрастала. Здесь он ошибся. Только возрастала моя любовь к нему. Весь вечер.

И вот тогда, продолжая мягко выворачивать ушко моей дочери, он вдруг пробормотал как-то невзначай:

– Так это ты и есть «пионерка Нона»?

И жадно уставился на меня... «Значит, он читал ее письма? Все эти годы, день за днем, он знал, что ему пишет она, моя несчастная, полуголодная дочь?» Я с бешенством посмотрел на него. Я не хотел скрывать. Да было и поздно скрывать. И он, усмехаясь, смотрел на меня. И тотчас бешеный взгляд грузина-отца исчез. И на Кобу смотрел жалкий, тусклый, умоляющий взгляд немолодого Фудзи.

А потом они ушли. Я не спал ночь, ожидая конца. Я знал: это случится на рассвете.

Но наступил рассвет, и ничего не случилось. На следующий день на работе мне выдали ордер на квартиру в сто квадратных метров. В конце недели я был восстановлен на прежней работе, в прежней должности – замнаркома.

Сейчас, оглядываясь назад, я понял, как был не прав в ту страшную ночь. Ибо тогда я выдержал испытание. Потому что только в момент, когда он увидел, как секундное мое бешенство тотчас сменилось угодливым страхом, – только тогда я выдержал испытание. Ибо только тогда Коба окончательно понял: нет больше блестящего, храброго Фудзи. Но есть трусливый раб, пес, готовый все стерпеть и вилять хвостом. Да, я с честью выдержал его испытание! Испытание друга моего Кобы!

А потом была великая война и великая победа.

Все эти годы я был с Кобой на «ты». Коба и Фудзи. Но каждый раз, когда я произносил это «ты», смертный страх сжимал сердце. И он видел это, и взгляд его становился ласков. Он вспоминал нашу юность, наше братство. И, видя мой страх, постигал величие и длину своего пути.

В 1951 году я встретился с ним в последний раз.

После какого-то заседания он взял меня с собой на дачу. Был душный июльский вечер, Коба был в отличном настроении. Мы отужинали, посмотрели трофейный ковбойский

фильм, а потом его любимый фильм – кинокомедию «Волга-Волга». Это была одна из его загадок. Понятно, почему он любил ковбойские фильмы с погонями и убийствами. Но отчего он бесчисленное количество раз смотрел эту глупую «Волгу-Волгу»? Говорили, что он влюблен в киноактрису Любовь Орлову, но это было бы простое, человеческое объяснение. Человеческие же объяснения для Кобы не подходили.

Потом мы гуляли по аллеям сада. Коба шел чуть впереди, тихонечко напевая свою любимую «Сулико». А я за ним.

– «Я могилу милой искал, но ее найти нелегко... Долго я томился и страдал...» – тихо напевал Коба.

Я уже готовился вступить в песню и тихонечко подпевать – Коба это очень любил.

– «Долго я томился и страдал...» – Коба вдруг на миг прервал фразу песни. Только на миг. И в тишине я явственно услышал его слова... даже не слова, а бормотание: – Бедный... бедный... бедный Серго...

Я облился потом. А он продолжал петь, заканчивая куплет:

– «Ты ли здесь, моя Сулико? « Ти-ра-ри-ра-ра-ра-ра-ра, – продолжал задумчиво напевать Коба без слов, – ти-ра-ри-ра-ра-ра...

И опять послышалось его бормотание:

– Бедный, бедный Ладос...

И опять он запел все сначала:

– «Я могилу милой искал...» – Он остановился, и вновь бормотание:

– Бедный... Бедный...

Да, он бормотал имена наших товарищей, наших прекрасных друзей, наших великих друзей – всех, кого он погубил. Долго он пел «Сулико». По многу раз пришлось ему повторять одни и те же куплеты, чтобы назвать их всех. Потому что он убил больше, чем любая чума.

А я все шел за ним, ошалева от ужаса.

– «Долго я томился и страдал, где же ты, моя Сулико?» – пел Коба. – Бедный... бедный Серго...

И вдруг он обернулся ко мне:

– Нету, нету Серго! Нету нашего Серго!

В его глазах стояли слезы – клянусь, слезы! Я не выдержал, я тоже заплакал и бросился ему на грудь.

Мгновенно лицо его вспыхнуло яростью. Толстый страшный нос и пылающие глаза приблизились вплотную к моему лицу. И он заорал, отталкивая меня:

– Нету Серго! Нету Ладос! Никого вас нету! Все вы хотели убить Кобу! Не удалось! Не вышло, б... дети! Он сам вас убил!

И он ринулся по аллее, ударив сапогом в зад не успевшего вовремя отскочить в кусты охранника.

И опять я не спал ночь. И наступил трусливый рассвет. И следующую ночь я не спал. Я ждал.

Но ничего не случилось. Ни в ту ночь, ни в последующие стыдные мои ночи. Просто больше я его никогда не видел. Друг Коба перестал звать к себе своего старого друга Фудзи. И все.

Но до Страшного суда я не забуду, как он шагал по аллее, пел нашу песню и бормотал наши имена. И как он плакал. Грузины умоют любить своих друзей... несмотря ни на что!

Легче перенести смерть брата, чем смерть друга». Такая у нас пословица.